

А. ЛУНАЧАРСКИЙ

ГЕТЕ И ЕГО ВРЕМЯ ¹

Развитие капитализма в XVII, XVIII и в начале XIX века, подъем буржуазии, вторжение этого нового класса на всемирную историческую арену с явным стремлением взять власть в свои руки вызвали ряд явлений не только экономического и политического характера, но и характера культурно-идеологического.

Англия первая вступила на путь буржуазного развития. В Англии раньше, чем в других странах, произошел грандиозный социальный взрыв. И эта эпоха выдвинула в ней целый ряд блестящих, гениальных исследователей и поэтов — Бэкона, Шекспира, Мильтона, Гоббса и других мыслителей, доходивших до необыкновенно радикальных форм сокрушения всех устоев предшествующего общества. Несколько позднее Франция по стопам Англии вступила на ту же дорогу и, подготавливая свою Великую революцию, выдвинула плеяду изумительных людей, которыми буржуазия могла бы гордиться, если бы не отреклась позднее от лучшего, что было в их учении. Здесь мы видим и разъедающую насмешку Вольтера, и грандиозный сердечный, в области чувств происходящий, романтический бунт Руссо против всех основ цивилизации и классового порядка, и группу энциклопедистов, которая, сокрушительными ударами потрясая все здание старой культуры, закладывала фундамент нового мирозерцания и нового общества, признаваемого «рациональным» и «нормальным».

Но если в Англии и Франции эпохи буржуазной революции не было недостатка в мыслителях и поэтах, то центр движения буржуазии принадлежал все же политикам-практикам. В этих странах мы имеем «плебейскую», по выражению Маркса, манеру довершать движение буржуазии: королям рубили головы, разгоняли старую аристократию, стирали внутренние границы между сословиями и княжествами, изменяли законы и закладывали фундамент буржуазной демократии с огромной решительностью и последовательностью.

Волна контрреволюции пыталась позднее уничтожить завоеванное, но все-таки глубокие следы первых буржуазных завоеваний сохранились, и весь характер дальнейшего развития Европы зависел от этих грандиознейших событий.

Иначе шло дело в Германии. В своей замечательной книге по истории немецкой философии и религии Гейне первый отметил с необыкновенной чуткостью эту особенность.

К тому времени, когда на Западе бурно разворачивалась молодая буржуазная культура, Германия имела уже некоторую прослойку буржуазии и группу буржуазных интеллигентов, которым не могло оставаться чуждым то, что делалось за границами Германии. Но все же это была страна отсталая. Сколько-нибудь значительных масс, которые могли бы поддержать

своих вождей, у немецкой буржуазии не было. И Гейне с изумительной проницательностью отмечает, что в Германии, лишенной с самого начала возможности действовать практически, начинается процесс сублимации. Социальная активность, не выражающаяся в действии, преломляется в фантазию, в художественные образы, которые передаются в музыке, книгах и картинах, в замечательные узоры всяких идейных положений. Это тоже творчество буржуазной культуры, этим тоже кладется начало борьбы со старым порядком, со старыми идеями, но эта борьба ведется только словом, идейным оружием. Немецким мыслителям той поры присуще недоверие к непосредственной активности, к практическому делу, как таковому. Они склонны понимать самую суть мира, понимать самое существо человека идеалистически,—работа фантазии, напряженной мысли для них особенно дорога, именно ею они жили.

Можно ли сделать отсюда вывод, что если в Германии молодая буржуазия оказалась более слабой и неорганизованной, чем где бы то ни было, то зато в своей области, в области идеологии, она одержала безукоризненно блестящие успехи? Нет, дело обстоит не так просто,—дело не только в том, что Германия оказалась страной «мыслителей и поэтов», а не страной борцов и действия.

Когда я отметил идеализм, присущий самосознанию немецких мыслителей, я указал на вещь нездоровую с нашей точки зрения, с точки зрения пролетариата, но мало того: идеологи немецкой буржуазии не могли вообще свободно развернуться даже и в той области, деятельность в которой была им доступна,—даже их художественные творения заражены духом известной отсталости, остаются в плену того порядка, который существовал в Германии и сильно разнился от порядка, существовавшего в других западноевропейских странах.

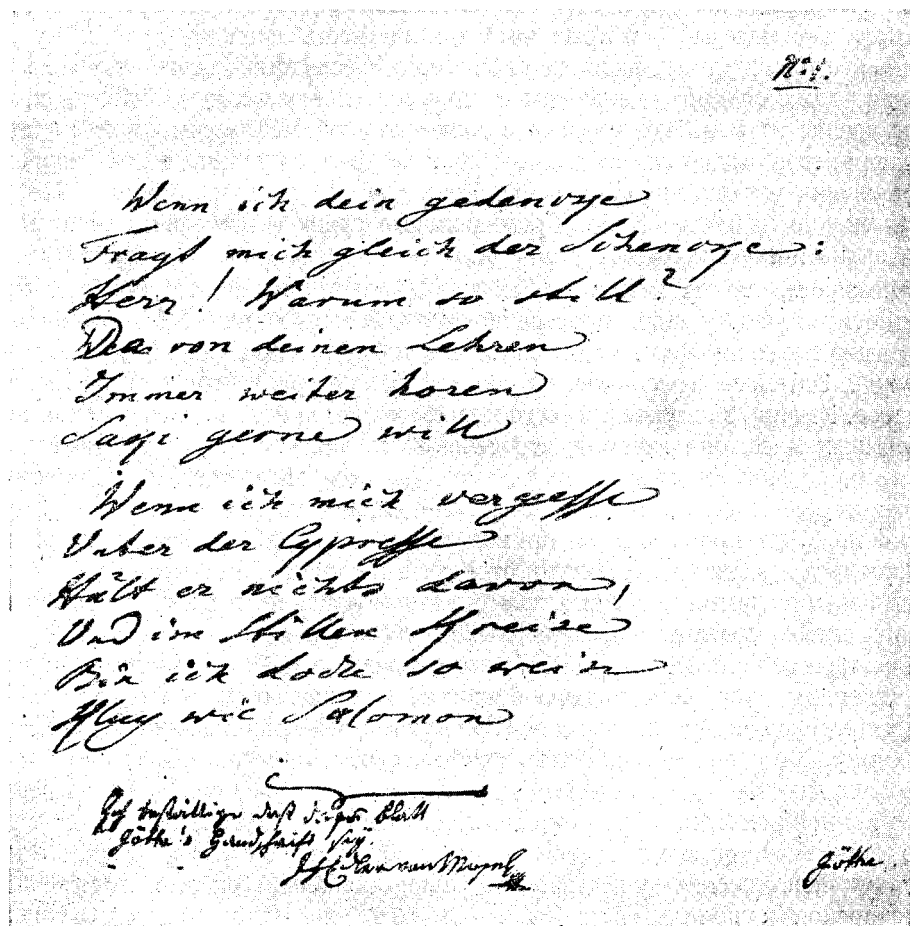
Энгельс в своей статье «Положение Германии» пишет о германской буржуазии:

«Соединившись с народом, они могли бы ниспровергнуть старую власть и восстановить империю, как это отчасти сделали английские средние классы между 1640 и 1688 гг. и как это в то время делала французская буржуазия. Но средние классы Германии никогда не обладали такой энергией, никогда не претендовали на такое мужество; они знали, что Германия—только навозная куча, но они хорошо чувствовали себя в этой грязи, потому что они сами были навозом и чувствовали себя в тепле, окруженные навозом»².

И далее:

«Это была одна гниющая и разлагающаяся масса. Никто не чувствовал себя хорошо. Ремесло, торговля, промышленность и земледелие были доведены до самых ничтожных размеров. Крестьяне, торговцы и ремесленники испытывали двойной гнет: кровавого правительства и плохого состояния торговли. Дворянство и князья находили, что их доходы, несмотря на то, что они все выжимали из своих подчиненных, не должны были отставать от их растущих расходов. Все было скверно, и в стране господствовало общее недовольство. Не было образования, средств воздействия на умы масс, свободы печати, общественного мнения, не было сколько-нибудь значительной торговли с другими странами; везде только мерзость и эгоизм; весь народ был проникнут низким, раболепным, гнусным торгашеским духом. Все прогнило, колебалось, готово было рухнуть, и нельзя было даже надеяться на благотворную перемену, потому что в народе не было такой силы, которая могла бы смести разлагающиеся трупы отживших учреждений.

Единственную надежду на лучшие времена видели в литературе. Эта позорная политическая и социальная эпоха была в то же самое время великой эпохой немецкой литературы. Около 1750 г. родились все великие умы Германии: поэты Гете и Шиллер, философы Кант и Фихте, а лет двадцать спустя—последний немецкий великий метафизик Гегель. Каждое замечательное произведение этой эпохи проникнуто духом протеста, возмущения против всего тогдашнего немецкого общества. Гете написал «Геца



Автограф стихотворения Гете из „Западно-восточного Дивана“. Веймар, сентябрь—октябрь 1811 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

фон Берлихингена», драматическое восхваление памяти революционера. Шиллер написал «Разбойников», прославляя великодушного молодого человека, объявившего открытую войну всему обществу. Но это были их юношеские произведения. С годами они потеряли всякую надежду. Гете ограничивался наиболее смелыми сатирами, а Шиллер впал бы в отчаяние, если бы не нашел прибежища в науке, в особенности в великой истории древней Греции и Рима. По ним можно судить о всех остальных. Даже самые лучшие и самые сильные умы народа потеряли всякую надежду на будущее своей страны»³.

Вот общая характеристика положения этих великих людей, среди которых величайшим был Гете.

Ленин учил нас, что есть два пути развития капитализма: американский путь развития—самый решительный путь, при котором капитализм расцветает бурно и оказывается в состоянии мобилизовать большие массы, сметающие со своего пути всю гниль прошлого, и другой путь,—который фатальным для Гете образом Ленин назвал прусским путем,—характеризующийся тем, что напор растущей буржуазии не может разрушить грязных дамб феодализма и просачивается сквозь них кое-как, буржуазия не располагает массами, которые в состоянии вести гражданскую войну с теми, кто препятствует развитию общества, и вследствие этого оторванные вожди, даже лучшие, даже самые проникательные, самые благородные, вынуждены идти на компромисс с господствующим классом; духовенство и дворянство остаются во главе общества, а буржуазия, довольствуясь отдельными уступками, приспосабливается, поддерживает их. Жертвой этого пути можно назвать и Гете. Громадная его слава свидетельствует о том, что он не явился жертвой до конца.

Мы знаем, что принесла с собой человечеству зрелая буржуазия и что приносит с собой теперь перезревшая буржуазия,—хорошего в этом мало. Но в начале движения мыслители молодой буржуазии, как это правильно отмечал Энгельс, перескакивали иногда даже за границы интересов своего класса. Именно в интересах своего класса, желая привлечь к нему симпатии огромных масс, они говорят, что дело, за которое они борются, делается для «народа», что жизнь людей в старом режиме—это накопление глупости, что история до сего дня была бессмыслицей, но что так будет до тех пор, пока не будет провозглашен примат разума,—когда все начнет освещать разум, все изменится и все муки отойдут в прошлое. Правда, при дальнейшем своем развитии победившая буржуазия отнюдь не выполняет обещаний своих смелых мыслителей. На первый план выступают теперь не мыслители, не поэты и даже не политики, а те, кто является основой буржуазии,—промышленники, торговцы, позднее банкиры. Они разворачивают до изумительных пределов точную науку и основанную на ней грандиозную по размаху технику. Но одновременно, как говорит Маркс, они разворачивают циничный, обнаженный торгашеский дух, они изгоняют все следы былой революционной романтики, неприкрыто ставят вопрос о барыше и, продвигаясь по дороге накопления все больших и больших богатств, безжалостно топчут человеческие существа. Все больше и больше сказывается эксплуататорская сущность буржуазии, и в то же время растет антипод буржуазии—пролетариат. Буржуазия изменяет своим прежним идеалам. Она заменяет красное знамя знаменем розовым, за тем розовое знамя—оранжевым и наконец доходит до черной реакции. Она идет все дальше напоитную и вновь протягивает руку дворянам и попам. Теперь не эти последние являются господами, которые пользуются поддержкой буржуазии; теперь буржуазия—господин, прибегающий к поддержке классов, потерявших первенство. Но все это создает в империалистическом мире приблизительно такую же реакционную мешанину, какую мы видим в начале капитализма, развивающегося прусским путем. Теперь эти страдания появляются от перезрелости капитализма, а тогда их причиной была его незрелость, медленность темпов его развития, накладывающая на творчество и жизнь мыслителей печать мучительной заторможенности.

Все особенности начала прусского пути развития буржуазного общества в величайшей степени сказались на Гете. Не было ни одного мыслителя, ни одного поэта того времени, который бы с такой силой переживал молодое, творческое буржуазное начало, весну нового класса, как Гете.

Блестящее освещение личности Гете в ее внутреннем противоречии сделано Энгельсом в его статье «Немецкий социализм в стихах и прозе»:

«Гете в своих произведениях двояко относится к немецкому обществу своего времени. Он враждебен ему; оно противно ему, и он пытается бежать от него, как в «Ифигении» и вообще во время итальянского путешествия; он восстает против него, как Гец, Прометей и Фауст, осыпает его горькой насмешкой Мефистофеля. Или он, напротив, дружит с ним, примиряется с ним, как в большинстве его «Кротких Ксений» и во многих прозаических произведениях, прославляет его, как в «Маскараде», защищает его от напаирующего на него исторического движения, особенно во всех произведениях, где он говорит о французской революции. Дело не в том, что Гете признает будто бы лишь отдельные стороны немецкой жизни в противоположность другим сторонам, которые ему враждебны. Часто это только проявление его различных настроений; в нем постоянно происходит борьба между гениальным поэтом, которому убожество окружающей его среды внушало отвращение, и опасливым сыном франкфуртского патриция, либо веймарским тайным советником, который видит себя вынужденным заключить с ним перемирие и привыкнуть к нему. Так Гете то колоссально велик, то мелочен, то это непокорный, насмешливый, презирующий мир гений, то осторожный, всем довольный, узкий филистер. И Гете был не в силах победить немецкое убожество; напротив, оно побеждает его; и эта победа убожества (*misère*) над величайшим немцем является лучшим доказательством того, что «изнутри» его вообще нельзя победить. Гете был слишком универсален, слишком активная натура, слишком плоть, чтобы искать спасения от убожества в шиллеровском бегстве к кантовскому идеалу; он был слишком проницателен, чтобы не видеть, что это бегство в конце концов сводилось к замене плоского убожества высокопарным. Его темперамент, его сила, все его духовное направление толкали его к практической жизни, а практическая жизнь, которая его окружала, была жалка. Перед этой дилеммой—существовать в жизненной среде, которую он должен был презирать, и все же быть прикованным к ней как к единственной, в которой он мог действовать,—перед этой дилеммой Гете находился постоянно. Чем старше он становился, тем все больше отступал могучий поэт, *de guerre lasse*, перед незначительным веймарским министром. Мы не упрекаем Гете, как это делают Берне, Менцель, за то, что он не был либерален, а за то, что временами он мог быть филистером; мы не упрекаем его и за то, что он не был способен на энтузиазм во имя немецкой свободы, а за то, что свое эстетическое чувство он приносил в жертву филистерскому страху перед всяким современным великим историческим движением; не за то, что он был придворным, а за то, что в то время, когда Наполеон очищал огромные авгиевы конюшни Германии, он мог с торжественной серьезностью заниматься ничтожнейшими делами и *menus plaisirs* ничтожнейшего немецкого двора. Мы вообще не делаем упреков ни с моральной, ни с партийной, а разве лишь с эстетической и исторической точек зрения; мы не измеряем Гете ни моральным, ни политическим, ни «человеческим» масштабом. Мы не можем здесь представить Гете в связи со всей его эпохой, с его литературными предшественниками и современниками в его раз-

витии и в жизни. Мы ограничиваемся поэтому лишь тем, что констатируем факт» ⁴.

Но если Гете был так загрязнен и в эстетическом, и в бытовом, и в политическом отношении, если он в такой огромной мере оказался в плену предрассудков, то не должны ли мы сказать буржуазии: Гете ваш, нам делать с ним нечего, хороните его, как хотите,—пусть мертвые хоронят мертвого, а Гете принадлежит вашему миру, миру мертвых?

Энгельс не так смотрел на Гете; он не только безоговорочно называет Гете величайшим из немцев, но, так как эта статья написана против Грюна, против мещанского восхваления Гете, Энгельс дополняет:

«Если мы выше рассматривали Гете лишь с одной стороны, то в этом вина исключительно г-на Грюна. Он совсем не изображает Гете со стороны его величия. Он спешит проскользнуть мимо всего, в чем Гете действительно велик и гениален» ⁵.

В разных местах Энгельс прямо указывает на величайшие достижения Гете. Так например Энгельс в статье «Положение Англии», говоря о Карлейле, попутно высказывается и о Гете: «Гете неохотно имел дело с «богом»,—говорит он,—от этого слова ему становилось не по себе; он чувствовал себя, как дома, только в человеческом, и эта человечность, это освобождение искусства от оков религии именно и составляют величие Гете. В этом отношении с ним не могут сравниться ни древние, ни Шекспир. Но эту совершенную человечность, это преодоление религиозного дуализма может постигнуть во всем его историческом значении лишь тот, кому не чужда другая сторона немецкого национального развития—философия. То, что Гете мог высказать лишь непосредственно, т. е. в известном смысле «пророчески», теперь развито и доказано в новейшей немецкой философии» ⁶.

Нет, ни в коем случае мы не можем сказать буржуазии: Гете ваш. Гете принадлежит не только буржуазии, он какой-то своей стороной принадлежит и нам.

Как же развивался этот человек и что принес он с собой? Здесь подобно маяку светит характеристика, данная Энгельсом.

Что это такое Sturm und Drang молодого Гете? Все, кто видел Гете в кругу взволнованных молодых людей, которым претило окружающее убожество, которые не хотели больше жить в смрадной мгле, которые хотели выявить может быть еще не совсем ясные мечты и осуществить их в жизненной практике,—те, кто видел Гете в кругу этих людей, говорят о нем, как о блистательном явлении среди явлений второстепенных. Это был человек физически, морально и умственно одаренный до такой степени, что все, к нему приближающиеся, отмечали его исключительность и оставались очарованными им.

От имени своего поколения, назвавшего себя поколением гениев, Гете, подлинный гений, ставил для себя и для других гигантскую задачу. Задача эта была не политическая, а чисто индивидуальная: развернуть все таящиеся в человеке возможности.

Это и есть тот критерий, благодаря которому можно сравнивать различные общественные строи, порядки и уклады. Маркс говорит, что тот общественный строй выше, который позволяет максимально развернуть все заложенные в человеке возможности. Маркс понимает это самым демократическим образом: возможности, заложенные во всяком человеке, заложенные и во всем человечестве. У Гете может быть эта мысль имела более аристо-

кратический оттенок, но не настолько, чтобы это сделало ее совершенно далекой от высказанной Марксом.

Во времена своей орлиной молодости, во всей полноте энергии, Гете говорит, что ничто его не волнует так, как церковное песнопение «*Veni, spiritus, creator*» («Гряди, дух творческий»): «Я знаю, что это не обращение к богу, это обращение к человеку и особенно к тому человеку, который одарен творчеством; творчески-одаренный человек—это вождь, это организатор». И несколько позднее Гете говорит:

Warum sucht'ich den Weg so sehnsuchtsvoll,
Wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen soll!

(Стал ли бы я с такой тоской стремиться к тому, чтобы найти правильную дорогу, если бы не должен был показать ее своим братьям?)

Может быть Гете знал определение гения, данное Кантом. Для него гений осуществляет все как нечто естественное, вытекающее из его собственной индивидуальной сущности, но то, что он осуществляет, становится примером и законом для других. Мы, обладающие марксистским анализом, можем сказать, что гении—глубоко одаренные люди—формируют раньше, чем их класс в целом, то, что ему нужно, и мысли их молниеносно распространяются, становятся орудием самопознания масс. Таков был Маркс, таков был Ленин, и Гете хотел быть таким. Но не было в Германии такого



ГЕТЕ НА УЛИЦЕ В ИЕНЕ

Зарисовка карандашом неизвестного художника
(Иена, около 1792 г.)

Собрание А. Киппенберга, Лейпциг

класса, который мог бы поддержать его. Гете прекрасно чувствовал, что в эпоху, предшествующую французской революции, не суждено осуществить идеала, чтобы общество не мешало, а помогало бы развитию творчески-совершенной личности. Он предчувствует даже, что такие выдающиеся личности непременно будут разбиты, падут жертвами. Он создает «Прометея», «Магомета» и наконец «Вертера»—произведения, являющиеся как бы признанием почти навязчивой мысли, что нет иного выхода из этой катастрофы, как смерть.

Все в тебе звучит, и все в тебе трепещет,
И чувства тмятся, и кажется тебе—исходишь ты и никнешь,
И все вокруг тебя в ночи кружится,
И ты все более в тебе присущем чувстве
Объемлешь целый мир—тогда-то умирает человек.

Смерть оказывается просветлением, смерть оказывается апофеозом. Почему? Что это—мистика? Нет, это не мистика. Если у величайшего буржуазного поэта Шекспира Гете учился в значительной степени такому пониманию жизни, что не важно-де быть счастливым, не важно быть победителем, важно быть великим, важно жить такими чувствами, мыслями, встречать в жизни и создавать в ней такие события, о которых можно было бы сказать: вот это подлинная жизнь, полная деятельности, величайшей энергии,—то у другого буржуазного мыслителя, у Спинозы, Гете учился познанию природы.

Для Гете природа была все, единое целое, в котором все части связаны в некоторую гармонию. Но больше чем Спинозе Гете присуща была идея, что это «все» постоянно совершенствуется, что процессы, которые происходят в мире, имеют смысл, потому что эта материя, обладающая бесконечными возможностями и осуществляющая их в своем противоречивом развитии путем воздействия отдельных частей друг на друга, постоянно идет вперед, к лучшему, к высшему своему развитию. Эта идея развития лежала вообще в основе немецкого идеализма. И кроме того Гете усваивал материю как необыкновенно одаренный художник; она была для него совокупностью красок, звуков, запахов, действительности, наслаждений, т. е. она говорила ему через необыкновенно яркую ткань самых живых переживаний. И он чувствовал, что быть частью этого целого—прекрасно. Он великолепно сознавал, что противопоставлять себя как часть целому, свою личность этому громадному свету, этой самодовлеющей материи—дико и смешно. Но как добиться этого целого, как пробиться к этому целому через общество, через то германское общество, о котором говорил Энгельс как о гниющей навозной куче? Пробиться нельзя, и Гете готов допустить мысль, что нет других ворот к природе, как только смерть. У Ибсена в «Пер Гюнте» есть такой образ: человек встречает Плавильщика, и Плавильщик говорит: «Я собираю пуговицы, у которых нет петель, и бросаю назад в тигель», т. е. людей, которые ни на что не нужны, смерть бросает обратно в поток материи, потому что надо брать в переделку то, что не удалось. А Гете—бриллиантовая пуговица, и у нее есть великолепная петля, но вот пришить ее некуда—кафтан негоден. Поэтому, несмотря на то, что он не ниже, а выше действительности, он стремится к смерти. Сам он не умер. Он написал только «Вертера»—вещь, которая выставила идею смерти, потрясшую мир и ввергнувшую многих в ряды самоубийц. Но сам Гете остался в тупике, на перепутьи, не зная, что делать.

И тут-то дворянство в лице герцога Карла-Августа Саксен-Веймарского предложило Гете союз. Об этом союзе говорится много неточного и поверхностного. Между тем это было величайшим событием в жизни Гете, и он долго думал, прежде чем принять это решение, т. е. отказаться от роли вождя буржуазии. Он знал, что здесь придется пресмыкаться, быть в положении приживальщика, увеселителя, метр-д'отеля, стать главным приказчиком своего господина, в сущности, заурядного. Когда он ушел к дворянам, такие люди, как республиканский мыслитель и поэт Клопшток, перестали подавать ему руку. Гете предвидел это, но он не знал, как же иначе жить? В нем kloкотала сила, которая толкала его к творчеству, к деятельности, к наслаждениям, и дворянство ему говорило: иди к нам, мы потеснимся, дадим тебе место среди нас, ты будешь фон Гете, у тебя будут деньги, у тебя будут коллекции, лаборатории, у тебя будет полная возможность путешествовать, мы сделаем тебя министром, мы дадим тебе править страной,—это маленькая страна, но все же «великое герцогство».

Гете склонился к этому предложению, и здесь его второе падение. Первое падение, заключающееся в том, что Гете перестал быть революционно настроенным вождем, было, в сущности, фатально. Ибо в тогдашней Германии вождям не хватало массы. Теперь же был поставлен вопрос, как спасти свою собственную жизнь, спасти ее для будущего? И это было сделано путем известной самопродажи господствующему классу дворян. И тут-то произошло у Гете самое ужасное, как говорит Энгельс,—то, что в один прекрасный день он проснулся в объятиях людей, подобных Грюну, то, что он позволил выдать себя за одну из главных опор реакционно-мещанского порядка темной Германии.

Энгельс говорит об этом:

«История отомстила Гете за то, что он каждый раз отрекался от нее, когда оказывался лицом к лицу с ней, но эта месть не в нападках Менцеля, не в ограниченной полемике Берне. Нет, как

Титания в стране чудес и фей
В объятиях Основы очутилась,

так Гете проснулся однажды в объятиях господина Грюна»⁷.

И таких грюнишек и грюнчиков, лгунишек и лгунчиков оказалось колоссальное количество.

По поводу союза Гете с дворянством они говорят, что это возвысило Гете, что от взволнованной, неуравновешенной юности он пришел к настоящей зрелости. Они называют его счастливым, его судьбу—идеальной. А Гете сам говорил о себе Эккерману: «Говорят, что я счастливый человек, но когда я оглядываюсь назад, то я вижу бесконечное количество отречений, бесконечное количество отказов от того, чего я хотел. Я вижу непрерывный труд, и только изредка мой путь освещается лучом, напоминающим счастье. И так с самого начала до самого конца».

Это говорил человек 80 лет, и он говорил правду, потому что тяжелыми оказались эти золотые цепи. С самого начала, когда Гете попадает в Веймар, он из собственного Вертера делает фарс в угоду новой среде. Он поступает к фрау Штейн буквально в обучение, и фрау Штейн выдергивает у него из крыльев все перья, которые кажутся ей недостаточно придворными. Она стремится втиснуть его в рамки заурядного придворного, и в этой придворной жизни Гете, нужно сказать, попадают позорные страсти.

Правда, Гете измучился невероятно и через некоторое время рвался из Веймара. Почти не спрося разрешения, едет он в Италию, чтобы подышать свежим воздухом.

Великий человек, великий бюргер, который не жил в таком бюргерском обществе, в котором он мог бы дышать свободно, устремляется к природе и к обществу, но к обществу прошлого.

В Италии Гете находит великие остатки Греции и Ренессанса великих бюргерских эпох, эпох, искусство которых умело показывать красивых людей, полных самоуверенности, полных языческой страсти и приведенных в норму в том смысле, что сознание ими своей силы делает их спокойными и величественными.

Гете создает вокруг себя искусственный мир, но современное ему общество прожужжало ему уши напоминаниями о том, что ему нужно вернуться в Веймар. Гете думает с отвращением о возвращении.

В это время Гете пишет свою страшную пьесу «Торквато Тассо». Эта пьеса страшна не тем, что ее герой, итальянский поэт, сходит с ума. Эта пьеса страшна своим замыслом, который заключается в изображении даровитого, страстного, естественного человека, настоящего человека, которого за талант приближают ко двору, и он вдруг осмеливается считать себя не только привилегированным шутом, а равным аристократам человеком и полюбить одну из принцесс. За это—гром и молнии, за это—полная гибель, и гибель моральная, потому что принцесса тоже относится к любви поэта так, как если бы ей сделала предложение обезьяна.

Но и не в этом главная трагедия. В этой пьесе существует Антонио, вся мудрость которого может быть прекрасно уложена в слова русской поговорки: «Всяк сверчок знай свой шесток». И вот Гете приходит к выводу, что Антонио—мудрец, что он носитель настоящей морали, а Торквато Тассо—носитель трагической вины. Он это пишет для того, чтобы самому себе доказать—знай, Гете, свой шесток, не лезь туда, куда не надо, не лезь в реформаторы общества, не мечтай по-своему поставить дело. Ты должен уметь отречься: в этом настоящая мудрость.

И несмотря на то, что Гете вступил на путь компромисса, когда он вернулся в Германию, от него почти все отвернулись. При дворе шипят на него за то, что он покинул Веймар и выказал этим свое презрение. Женственная фрау Штейн пишет сначала роман, а потом и пьесу против Гете, и Брандес, один из биографов Гете, говорит, что ни разу ревнивая женщина, возненавидевшая своего великого любовника, не писала книги столь клеветнической и грязной. Правда, дружба с Шиллером, другим буржуазным гением, отчасти поддержала Гете (здесь не место говорить о Шиллере, хотя он имел известное значение для Гете).

Вот с этих пор, в особенности после смерти Шиллера, Гете прикрывается плащом величественного превосходства, надевает на лицо маску олимпийца.

Гете этой поры вызывает удивление: где же тот орел, тот гений, который, как огонь, взвивался ввысь? Вот этот величественный и спокойный человек, у которого ни один мускул не дрогнет? Но это тоже обманная маска. В это время, содрогаясь всем телом, Гете говорит: «Я не могу написать трагедию. Это свело бы меня с ума!» Он слышит сонаты Бетховена, он рыдает в полутемной комнате и становится почти врагом Бетховена. Он говорит: «Если бы такая музыка была исполнена большим оркестром, то все разрушила бы вокруг себя».

Энгельс говорит, что чем старше становился Гете, тем больше он превращался в ограниченного гегемоната. Но Энгельс не знал некоторых документов, по которым мы видим силы, противостоящие этому процессу. Даже по убежденному сединой Гете можно узнать, сколько сил он в себе хоронил и как они порою в нем клочкотали.

Вот что можно рассказать об этом: после изгнания Наполеона началась реакция, князья стремились лишить народ всех тех завоеваний, на которые он претендовал в результате освободительной войны.

Гете был потрясен этим зрелищем, на что мы имеем теперь прямое указание. Врач Кизер рассказывает о вечере 13 декабря 1813 г., который он провел у Гете:

«Я пришел к нему в шесть часов вечера. Я нашел его в одиночестве и необыкновенно возбужденным, прямо-таки воспламененным. Я провел у него два часа и так и не понял его хорошенько. Он развертывал широкие политические планы и просил моего участия; я прямо-таки испугался его. Он показался мне похожим на китайского дракона. Он был гневен, мощен, рыкающ. Глаза были полны огня, лицо пылало, слов часто не хватало, и он заменял их бурными жестами».

Но от бедного Кизера невозможно добиться, что это были за планы. Он говорит только, что Гете осуждал несправедливости, накопившиеся в веках.

Однако на следующий день Гете разговаривал с более передовым и умным человеком—с профессором Люденем. Повидимому планы активного протеста против подготовлявшейся реакции в виду полной неосуществимости их для Гете были им оставлены. Но зато на этот раз мы видим, что привело Гете в такое крайнее возбуждение:

«Может быть вы думаете, что мне чужды великие идеи свободы, народа, отечества? Эти идеи—часть нашего существа. От них никто не может уйти. Но вот вы разговариваете о пробуждении, о подъеме моего немецкого народа. Вы утверждаете, что он не позволит вырвать из своих рук свободу, которую он так дорого купил, жертвуя своим достоинством и жизнью. Но разве немецкий народ проснулся? Сон был слишком глубок, и первая встряска не может привести его в чувство. Не спрашивайте меня больше. Прокламации иностранцев о наших я сам нахожу превосходными. Ах, ах, коня, коня,—полцарства за коня!»

Но коня ему не дали. Ему дали полцарства, «пол великого герцогства» дали, но коня, чтобы руководить какими-то великими политическими атаками, ему не дали. Наполеонофильство Гете однако было всем заметно. Он совершенно ясно сознавал, что Наполеон—не только враг отечества, но что он несет с собой более высокий уклад. Людендорф, «великий маршал», говорит, что нужно заклеить Гете за то, что он был недостаточно французом, но интересно, что мадам Людендорф издала книгу, в которой она утверждает, что все великие немцы были убиты жидами или масонами: в частности Шиллер был отравлен масоном Гете. Эта глупая и грязная книга разошлась в культурной Германии в 30 тысячах экземпляров. Уже по этому можно заключить, что «правая Германия» далека от безусловного преклонения перед Гете и проявляет довольно странное «критическое» отношение к нему.

Конечно у Гете политика—слабейшая сторона его деятельности. Гораздо более близок нам Гете—философ, ученый и поэт. Но все же для политической характеристики Гете надо сделать еще одну существенную прибавку.

Гете к концу жизни уже начал замечать внутренние противоречия, которые несет с собой развитие буржуазного общества. Он крепко любил труд, любил технику, любил науку. Не эти сильные стороны буржуазии его отталкивали; его отталкивал торгашеский дух и хаос, которые несла с собой буржуазия. Поэтому он пытался нарисовать для себя строй, в котором торжествовало бы плановое начало и где бы свободные и трудящиеся люди были объединены в трудовой союз. Это отразилось в последней части великой драматической поэмы «Фауст». Эти знаменитые строки очень часто приводятся, но не лишне их еще раз привести—они показывают, как Гете переходит за грани своего века:

Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой.
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной
Дитя и муж, и старец пусть ведет,
Чтоб я увидел в блеске силы дивной
Свободный край, свободный мой народ.
Тогда сказал бы я: мгновенье,
Прекрасно ты, продлись, постой,
И не смело б веков течение
Следа, оставленного мной.

Только тот, кто действительно творчески содействует людям, кто не жаждет покоя, но словом и делом борется за победу жизни, кто сопротивляется тем силам, которые стараются заковать их,—только тот может сказать, что он прожил плодотворно свою жизнь.

Итак, Гете-мыслитель и Гете-поэт гораздо ближе нам и гораздо важнее, чем политик. Правда, даже в области общественно-политической в творчестве Гете все время сказывается передовой бюргер-гражданин. Но все же восстание молодой буржуазии против старого мира чувствуется гораздо сильнее в поэзии и философии Гете.

Колоссальная сила его музыки, его образов имеет источником молодость класса. Обыкновенно те, кто просыпается к творчеству передового класса, обладают свежестью восприятия; они, как Адам, называют все новыми именами, они создают свой язык, они становятся резервуаром всего того, что может и должен воспринять обновленный человек. И Гете говорит:

Lieben, hassen, fürchten, zittern,
Hoffen, zagen bis ins Mark
Kann das Leben zwar verbittern,
Aber ohne sie wär's Quarq».

(Нужно любить, нужно ненавидеть, нужно бороться, нужно содрогаться, это может сделать жизнь горькой, но без этого вся жизнь—хлам).

Сила, активность, жизненность Гете делают честь буржуазии, породившей эту орлиную молодость, но зато бесчестие для буржуазии—жизнь Гете постольку, поскольку она его молодость сковала, ограничила и поскольку она вообще никогда и ни при каких условиях программы этой молодости выполнить бы не могла.

Как поэт Гете обладает еще возможностью с необыкновенной силой в образах выражать то, что он чувствует. Говоря об этом, он характерным образом на первое место среди всех переживаний ставит страдание: «Если

обыкновенный человек в горе умолкает, то мне некоторое божество дало силу рассказать все мои страдания».

Еще долго мы будем разбираться в гетевском творчестве, потому что теперь наступает время разобраться в нем по-настоящему.

Выше были приведены замечательные цитаты из Энгельса, где он оценивает глубоко революционный характер философской концепции Гете.

Я хочу закончить мою статью одним философским письмом Гете. Это—одна из самых светлых, глубочайших страниц, которые были когда-либо написаны.

«Не могу не поделиться неоднократно овладевавшей мною в эти дни радостью. Я чувствую себя в счастливом единогласии с близкими и далекими, серьезными, деятельными исследователями. Они признают и утверждают, что нужно принять в качестве предпосылки и допущения нечто неисследимое, но что затем самому исследователю нельзя ставить никакой границы».

И разве приходится мне принимать в качестве допущения и предпосылки самого себя, хотя я никогда не знаю, как я, собственно, устроен? Разве не изучаю я себя непрестанно, никогда не достигая понимания себя, а также и других, и тем не менее бодро подвигаясь все дальше и дальше?

Так и с миром: пусть он лежит перед нами безначальный и бесконечный, пусть будет безгранична даль, непроницаема близь; но это так, и все-таки— пусть никогда не определяют, насколько далеко и насколько глубоко способен человеческий ум проникнуть в свои тайны и в тайны мира». В этом смысле предлагаю принять и истолковать нижеследующие полные бодрости строки:

«Ins Innere der Natur»—
O, du Philister!
«Dringt kein erschaffner Geist.
Mich und Geschwister
Mögt ihr an solches Wort
Nur nicht erinnern!
Wir denken: Ort für Ort
Sind wir im Innern.
«Glücklich, wem sie nur
Die äussre Schale weist!»
Das hör'ich sechzig Jahre wiederholen,
Ich fluche drauf, aber verstohlen,
Sage nur tausend, tausendmale:
Alles gibt sie reichlich und gern;
Natur hat weder Kern
Noch Schale,
Alles ist sie mit einem Male;
Dich prüfe du nur allermeist,
Ob du Kern oder Schale seist!»

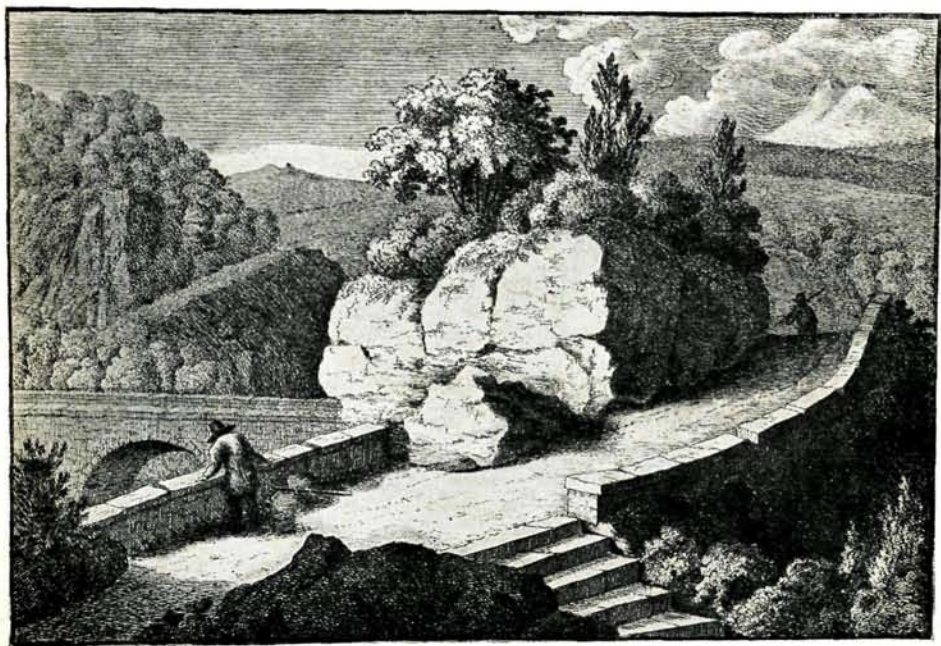
(«Внутрь природы»—о, филистер!—«не проникнуть сотворенному духу». Но мне и моим собратьям лучше уж не обращайтесь с подобными речами! Мы полагаем: куда мы ни ступим—езде мы внутри.

«Счастлив тот, кому она раскрывает хоть наружную скорлупу». Это я слышу целых шестьдесят лет, отругиваюсь, но про себя повторяю тысячи и тысячи раз: все дает она щедро и охотно; у природы нет ни ядра, ни скорлупы, она—все сразу; лучше испытай-ка хорошенько: сам-то ты—ядро или скорлупа».

Слова в кавычках—из стихотворения физиолога и поэта Галлера).

Понятно, что такое философское настроение, вера в познание, вера в неограниченный человеческий разум—это наше. Как только буржуазия начинает приостанавливаться в своем развитии, загнивать, она от реалистического, творческого и бодрого мировоззрения отходит.

Мы не можем не быть аналитиками, не разбираться внимательно и критически в том, что оставили нам века прошлого, ибо они почти никогда не дают ничего, что в целостном виде было бы для нас приемлемо. Произведения прошлых культур заключают в себе вместе с сокровищами много



Гравированный рисунок Гете

Воспроизведен в прижизненном Гете издании „Radierte Blätter nach Handzeichnungen (Skizzen) von Goethe“
hsg. v. Schwerdgeburth. Weimar, 1821

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

всякого хлама, который мы должны отбросить и отделить. Вот это мы теперь делаем с Гете. И мы видим, что после этого от него остается не только лучшая часть, но и существенная часть—то, что было самым существенным в самом Гете.

Еще могут грюнчики и грюнишки называть Гете олимпийцем, приклеивать ко лбу Гете всякого рода реакционные ярлычки, но против них уже высывается голос пролетариата, который строит новый мир и который устраивает свой страшный суд над эксплуататорским обществом и его культурой.

Да, социальная революция, которая, как сказал Маркс, продлится может быть десятки лет,—это страшный суд, и не только потому, что эта революция низвергает врагов народа в социальной борьбе, а потому, что она есть суд над живыми и мертвыми.

Перед судом пролетариата, строящего новую жизнь, проходят те, кто работал в прежние времена, те пророки нашего движения, которые стояли лицом к восходящему солнцу, озаряющему нас теперь.

Перед судом пролетариата проходят представители других классов, перешагнувшие через границы своего классового сознания, создавшие программы, которые не мог выполнить этот класс и выполнить которые суждено другому классу.

Как на великой фреске Микель-Анджело стоит могучая фигура пролетария, который низвергает то, что считалось великим,—здесь обломки царских корон, золото банкиров, фальшивые лавры и т. д., а с другой стороны возвышаются те, память о которых не сотрется веками.

К Гете этот пролетарский, политический, культурный и художественный суд обращается так: «Ты должен снять с себя свою раззолоченную саксен-веймарскую ливрею, твоя маска олимпийского спокойствия должна растаять, потому что мы знаем, что под ней кроется великий человек и великий страдалец. Оставь то, что тебе навязано убожеством твоего времени: ты сам знаешь, что от этого ты станешь только лучше, гораздо выше и гораздо светлее. Войди в вечность с теми, кто способствовал действительному подъему человеческого общества».

Вот смысл слов наших учителей: пролетариат есть верный наследник великих мыслителей и великих поэтов-классиков молодой Германии и среди них быть может величайшего—Иоганна-Вольфганга Гете.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Исправленная стенограмма доклада, прочитанного 22 марта 1932 г. в Доме союзов на вечере, посвященном столетию со дня смерти Гете.

² Маркс и Энгельс, Сочинения. Изд. Института Маркса и Энгельса, т. V, стр. 6.

³ Там же, т. V, стр. 6—7.

⁴ Там же, т. V, стр. 142.

⁵ Там же, т. V, стр. 156.

⁶ Там же, т. II, стр. 345.

⁷ Там же, т. V, стр. 156.